

АЛЕКС ЛАСКАРИ

18+

ПОКА ВЕРИЛ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН



Алекс Ласкари
Пока верил.
Психологический роман

<https://litres.ru/74252658>

ISBN 9785007052894

Аннотация

«Кому-то надо верить...» Эту фразу он повторял всю жизнь. Верил матери, сестре. Родным людям. Уступал и был уверен: в семье своих не предадут. Пока верил, они делили, оформляли, решали. Он остался один. Без дома, без дочери. Сидя в чужой квартире, он пытается понять: в какой момент его жизнь перестала быть его собственной? Чтобы найти ответ, ему придётся всё вспомнить.

Роман о доверии. О семье, где любовь шла рядом с расчётом. И о человеке, поздно понявшем: не у него отняли, он сам всё отдал.

Содержание

Пролог	5
Глава 1	12
Глава 2	29
Глава 3	47
Глава 4	64
Глава 5	81
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Пока верил **Психологический роман**

Алекс Ласкари

Иллюстрации ChatGPT / OpenAI

© Алекс Ласкари, 2026

ISBN 978-5-0070-5289-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Ночью квартиры звучат иначе.

Днём здесь всё обычное. Маленькая кухня — таких тысячи. Облезлый подоконник, где когда-то стояли цветы, а теперь — пустая банка из-под кофе и пепельница.

Старый холодильник, когда-то белый, теперь серо-жёлтый, с пятнами ржавчины у пола. Он время от времени вздрагивает и тихо гудит, будто ворчит себе под нос.

А ночью тишина становится плотной — её почти можно потрогать рукой. Слышно, как в стенах медленно ползёт вода по трубам. Как наверху кто-то тяжело переворачивается в кровати.

Как лифт, скрипя, проходит мимо этажа. Даже как стрелка часов перескакивает с минуты на минуту.

Я сижу за кухонным столом.

Передо мной кружка с чаем. Давно остывшим. Я не пью — просто держу её обеими руками, словно она ещё хранит тепло и может меня согреть.

Пальцы уже холодные. Большие, грубые, с проступающими жилами. Рабочие руки. Руки, которые столько всего собирали и чинили в чужих квартирах — и не удержали ни одной стены для себя.

За окном — март. Тот самый, который не может решить, он ещё зима или уже весна. Сырость, тьма, ветер шуршит

между панельками. Где-то во дворе проезжает редкая машина — фар не видно, только скользящие отблески по стеклу.

Я смотрю в чёрный прямоугольник окна — и вижу своё отражение.

Размытое, но узнаваемое.

Мне пятьдесят один. Иногда кажется — гораздо больше. Не из-за седины — к ней я привык. Из-за глаз. Они смотрят не из этой ночи — из какой-то очень далёкой жизни.

Я подаюсь ближе, щурюсь. Нос — отцовский. Тяжёлый, упрямый.

Скулы заострились, лицо осунулось, словно провалилось внутрь. Глаза потемнели, стали тяжёлыми, как осенние лужи. Волосы держатся — тёмные, жёсткие, только проседь у висков и над лбом.

Когда-то этим лицом я гордился. Когда-то оно нравилось женщинам.

Теперь смотрю и думаю спокойно, без надрыва: устал ты, брат. Время тебя поело.

Спина ноет. Я слишком долго сижу, согнувшись над столом. Подвигаю стул — он скрипит, как старик. В колене что-то щёлкает.

Оглядываюсь.

Шкаф. Плита. Узкая полоска столешницы. Маленький стол у стены. Стул подо мной.

Ничего лишнего.

И ничего моего.

Я живу здесь почти год. Почти год вставляю ключ в замок — и каждый раз внутри что-то ёкает: не то. Не моя дверь. Не мой замок. Не мой дом.

Странное чувство. Будто ты в гостях, а хозяева просто вышли. И всё не возвращаются.

Вечером заходила сестра Наталья.

Я всегда узнаю её шаги на лестнице: твёрдые, уверенные, каблук чуть уходит наружу — получается характерный стук.

Я открыл дверь. Она, как обычно, не разулась. Постояла в коридоре, посмотрела мимо меня вглубь квартиры. Сумку не поставила — держала на сгибе руки, будто не собиралась задерживаться.

— Ну что, жив -здоров? — спросила она. Не из заботы — скорее для отметки.

Я пожал плечами:

— Пока да.

Она скользнула взглядом по кухне: стол, плита, окно.

— Ты только не забывай... — сказала спокойно, почти между прочим. — Квартира моя.

Без нажима. Без угроз. Просто как факт. Как сказать: март, сырость, дождь.

Я кивнул:

— Помню.

Она помолчала, будто ждала — просьбы, злости, хоть какой-то реакции. Я молчал.

Развернулась и ушла. Каблуки застучали вниз по лестни-

це. Дверь подъезда глухо хлопнула.

Иногда думаю: легче было бы, если бы она накричала. Сказала всё прямо: сам виноват, пропил, не справился, тебя тянут... На крик можно ответить. На обвинение — вспыхнуть.

А на факт — нечего.

Факт есть факт.

Квартира — её.

Сейчас она, наверное, спит у себя. В своём настоящем доме.

А я сижу здесь. На её кухне. Как квартирант, который задержался.

Смотрю на руки.

Шершавые ладони, исполосованные мелкими белыми шрамами. Каждый — память: тут порезался на объекте, там сорвался нож, там схватил горячий металл — некогда было искать перчатки.

Этими руками я таскал кабели, сверлил стены, собирал щиты.

Этими руками держал дочку за маленькую ладошку, подбрасывал к потолку, гладил по голове.

Этими руками держал за ошейник огромного белого пса, когда тот рвался вперёд.

Теперь они лежат вокруг холодной кружки — и не знают, за что зацепиться.

Когда-то у меня был дом.

Сначала — старый деревянный. Там мы жили все: бабушка, мать, отец, Наталья и я. Своё крыльцо. Свой двор. Земля под ногами.

Потом его признали аварийным. Под снос.

Об этом ещё будет.

Потом — трёхкомнатная квартира, куда нас переселили. Тогда она казалась огромной. Почти дворец после тесноты.

Я помню запахи вечеров: мамины лекарства, жареная картошка, табачный дым с балкона, где курил отец.

Пахло жизнью.

Нашей.

У меня была своя комната. Пусть маленькая. Пусть с пианино, на котором больше мучилась Наталья, чем играла.

У меня было своё окно — двор, качели, песочница, тополя, пух которых весной забивал сетку.

И шкаф. Отец собрал его сам. Я помню: доски, дверцы, коробки с фурнитурой. Он в майке, мокрый от пота, с молотком в руке. Стружка на полу. Запах дерева.

Тогда мне казалось: этот шкаф — навсегда.

Дольше нас.

Я прожил в той квартире почти всю жизнь.

А потом оказалось — это было не моё.

Я провожу ладонью по столу. Шершавое покрытие, заусеница цепляет ткань рубашки.

Усмехаюсь.

Странная штука — жизнь.

Думаешь: всё как у людей. Работаешь. Женишься. Ребёнок. Помогает матери. Доверяешь сестре. Доверяешь своим.

Это же семья.

Что может случиться?

А потом однажды ночью сидишь на чужой кухне — и понимаешь: у тебя не осталось даже стены, к которой можно прислонить ладонь и сказать: «Моя».

Я встаю. Спина хрустит, ноги затекли.

Подхожу к окну, опираюсь на подоконник. Краска отслаивается, в углу — чёрные точки плесени.

Во дворе — тьма. Фонарь подсвечивает грязный снег, пакеты в кустах. На площадке болтается пустая пластиковая бутылка.

В стекле — моё лицо.

И поверх него — отражение кухни.

Где-то внутри медленно шевелится что-то забытое.

Не боль.

Не злость.

Желание.

Посмотреть назад.

Честно.

Не отмахнуться. Не сказать: было и прошло.

А вспомнить.

С самого начала.

Не с этой кухни. Не с этой панели.

С того деревянного дома.

С бабушкиного голоса за стеной.

С её пирогов.

С её тёплых рук, которые держали крепче любой стены.

С той жизни, где «вместе» казалось навсегда.

И с той ошибки...

Которую я тогда даже не заметил.

Глава 1

Весной наш двор всегда пах сырой землёй.

Сейчас я знаю — это нормально: снег сходит, земля оттаивает, вода уходит вниз. А тогда, в четыре года, этот запах был просто частью мира. Как мамин голос. Как скрип калитки. Как лай соседской собаки.

В тот год к сырости примешался другой запах — тяжёлый, пыльный, с горечью. Запах старого дерева, штукатурки и вскрытых стен.

Наш дом начали ломать. Я стоял у калитки и смотрел.

Доски валялись кучами, как кости большого зверя. Мушки в ватниках вытаскивали шкафы, кровати, ящики. Тяжело дышали, ругались, смеялись. Грузовики рычали, принимая груз.

Дети носились между вещами, как по лабиринту. Кто-то катался на матрасе, брошенном в грязь, будто это корабль.

Мне было четыре, и всё это выглядело как странный праздник.

Вещи вылезли из дома наружу. Чужой комод стоял посреди двора, на нём тётя Зина грызла семечки — шелуха липла к мокрой земле. Кот залез в коробку с кастрюлями: торчит хвост, внутри звенит.

— Димка, не лезь под машину! — крикнула мать из окна. Я сделал вид, что не слышу.

Во дворе происходило что-то важное. Всё двигалось, гремело, жило. В доме остались пустота и пыль, от которой щекотало в носу.

Рабочие курили, бросали окурки в грязь. Один поднял диван, крикнул:

— Осторожно, развалится сейчас.

Диван и правда выглядел так, будто держится на честном слове. Пружины наружу, обивка стёрта до дерева. Тогда я не знал слова «старьё». Это был просто наш диван — тот самый, за прыжки на котором я получал по заднице.

Я подошёл ближе.

Теперь тот дом кажется мне маленьким. Тогда он был огромным. Тёмный, деревянный, с кривыми ступеньками и длинным прохладным коридором. Полы там всегда тихо поскрипывали.

Я жил в нём с рождения и не сомневался: так будет всегда. Взрослые знали другое.

— Снесут всё, — сказал утром дядя Коля у забора. — Новый дом поставят.

— Многоэтажный, — добавила мать.

Слово «многоэтажный» звучало как заклинание. Я не понимал, сколько это — «много». Но звучало важно. Почти сказочно.

Я присел у лужи и начал палкой рисовать круги. По краям лёд трескался, под ним была чёрная вода.

За спиной хлопнула дверь.

По звуку я сразу понял — бабушка.

Я обернулся.

Она выходила на крыльцо с узлом в руках. Узел был завязан платком, тяжёлый. Она держала его двумя руками, прижимая к себе, как ребёнка.

Шла медленно. Осторожно.

— Баб, что там? — спросил я.

Она перевела дыхание.

— Посуда. И фотографии.

Тогда это значило одно: вечером будут рассказы — кто где служил, кто на ком женился.

Сейчас понимаю — она несла не вещи. Она несла свою жизнь.

Она остановилась у калитки и тяжело вздохнула.

Где-то внутри дома глухо ударили по стене.

Этот звук остался во мне. До сих пор. Стоит услышать удар по дереву — внутри что-то откликается.

Бабушка смотрела на дом. Долго. Как прощаются.

Я этого не понимал. Мне казалось, дом просто... уедет. Как шкаф. Как стол.

Я ткнул палкой в воду.

— А мы куда поедем?

Она не ответила сразу.

Теперь я знаю: в таких паузах взрослые прячут слова.

— В квартиры, — сказала она.

Слово уже крутилось в воздухе весь день.

— Аккуратнее тащите! Нам ещё в квартиру это везти! — кричала мать.

«Квартира» звучала как новый вид дома. Городской. Чужой.

Я посмотрел на бабушку.

— А дом куда?

Она слабо улыбнулась:

— Тут останется. Только его не будет.

Я ничего не понял.

Теперь понимаю слишком хорошо.

Во дворе становилось тесно.

Вещей становилось больше, чем пространства. Они выталкивали людей к забору, к калитке, на дорогу.

Мир расползался на куски — шкаф отдельно, кровать отдельно, посуда в ящиках, одежда в узлах.

Дом, в котором всё это когда-то было единым, больше не держал их вместе.

Я бродил между кучами, как исследователь.

Заглядывал в ящики, трогал чужие вещи, примерял на себя чью-то жизнь. Нашёл старую шляпу — надел, она съехала на глаза. Нашёл куклу без руки — почему-то стало не по себе, и я быстро её бросил.

— Не трогай! — крикнула какая-то женщина. — Это наше!

Я отдёргнул руку.

«Наше» — звучало резко. Как запрет.

Я отошёл.

И вдруг поймал себя на странной мысли: а где здесь «наше»?

Я обернулся на дом.

Дверь была распахнута. Внутри — пустота. Комнаты без вещей выглядят больше, чем есть. Чужими.

Я сделал шаг внутрь.

Пахло пылью и сыростью. Пол под ногами скрипнул — уже не так, как раньше. Глухо. Будто обиделся.

Комнаты стояли голые.

Там, где был стол, — пятно на полу. Где шкаф — светлый прямоугольник на стене. Где кровать — продавленный след.

Вещи исчезли — и вместе с ними исчезло что-то ещё. Что-то, что делало это место домом.

Тогда я не мог это назвать.

Сейчас — могу. Жизнь.

— Димка! — раздался голос матери. — Ты где?

Я вышел обратно на свет.

Она стояла у грузовика, злая, с красным лицом.

— Я же сказала — не лезь туда!

Я пожал плечами.

— Там пусто.

Она посмотрела на дом — коротко, резко.

— И хорошо.

Сказала — и отвернулась.

Сейчас я понимаю: она не на дом смотрела. От него она

уже отказалась. Она смотрела вперёд. В ту самую «квартиру», где всё будет заново.

Тогда мне казалось — она просто сердится.

Я отошёл в сторону.

У калитки стояла Наташка. Старше меня на шесть лет, она всегда знала больше. Или делала вид.

Она не бегала, не играла. Стояла и смотрела.

— Чего ты? — спросил я.

Она кивнула на дом:

— Его сломают.

— Потом построят новый.

— Не здесь, — сказала она.

Я нахмурился.

— А где?

Она пожала плечами:

— Не знаю.

Мы помолчали.

Внутри дома снова глухо ударили. Потом ещё раз. Дерево треснуло — длинно, как будто кто-то разорвал ткань.

Я вздрогнул. Наташка — нет.

Она смотрела внимательно. Запоминала.

— А ты хочешь в квартиру? — спросила она вдруг.

Я задумался.

Хотеть можно то, что понимаешь. А я не понимал.

— Не знаю, — сказал я честно.

Она кивнула. Будто ожидала такого ответа.

— Там лифт будет, — сказала она. — И мусоропровод.
Слово «мусоропровод» прозвучало особенно важно.

— Это что?

— Труба. Кидаешь мусор — и он улетает вниз.

Я представил — и засмеялся.

— Круто.

Она не улыбнулась.

— А двора не будет.

Я замолчал.

— Как это?

— Так.

Я посмотрел вокруг. На грязь, на лужи, на доски, на людей, на кота в коробке.

На всё, что было моим миром.

— Не может быть, — сказал я.

Она пожала плечами:

— Будет.

Сейчас я понимаю: в тот момент она уже начала терять этот двор. А я ещё держался.

Разница в шесть лет — иногда это пропасть.

Грузовик завёлся.

Мотор заревел, выбрасывая сизый дым. Мужики закричали:

— Всё, закрывай!

Кто-то захлопнул борт. Кто-то прыгнул в кабину.

— Отходите!

Я отскочил.

Грузовик тронулся. Медленно. Тяжело. Словно не хотел уезжать.

На нём — наша жизнь. Шкаф, стол, ящики, узлы.

Я побежал за ним несколько шагов.

— Димка, стой! — крикнула мать.

Я остановился.

Смотрел, как он уезжает.

Как будто отрывают кусок.

Тогда я не знал — отрывают не вещи.

Отрывают тебя от места.

После грузовика двор словно выдохся.

Шум стих. Остались редкие удары по стенам, короткие команды рабочих да скрип досок под ногами. Люди разошлись — кто провожать машины, кто прятаться от пыли в подъезды соседних домов.

Стало пусто. И странно тихо.

Я снова подошёл к крыльцу.

Дверь висела на одной петле. Её сняли, но не до конца — она покачивалась, тихо постукивая о косяк. Внутри было темнее, чем раньше. Без мебели свет не задерживался — проходил насквозь, упирался в голые стены и гас.

Я переступил порог.

На полу — мусор. Щепки, обрывки бумаги, куски штукатурки. Где-то валялся забытый детский сапог. Один. Без пары.

Я пнул его носком. Он перевернулся и замер.

Становилось не по себе.

Дом больше не узнавал меня. Или я — его.

Я прошёл в комнату, где мы спали.

Пусто.

Только окно — серое, мутное. И под ним — батарея, облупленная, с пятнами ржавчины. Я подошёл, провёл рукой — холодная.

Раньше она всегда была горячей.

Я сел на корточки.

На полу осталась вмятина — там стояла кровать. Я положил ладонь на это место. Дерево было чуть теплее остального пола. Или мне показалось.

Сейчас я понимаю: я пытался найти след. Доказательство, что всё это было.

— Ты чего здесь?

Я вздрогнул.

В дверях стоял один из рабочих. Высокий, в серой куртке, с сигаретой в зубах.

— Нельзя тут, — сказал он. — Опасно.

Я встал.

— А что будет?

Он оглядел комнату.

— Ломать будем. Всё.

Сказал спокойно. Как о работе.

Я посмотрел на стены.

— Совсем?

Он усмехнулся уголком рта:

— А как ещё?

Я вышел.

На улице стало светлее — тучи разошлись, солнце на секунду пробилось сквозь серое небо. Блики легли на мокрую землю, на стекло грузовика, который стоял у ворот.

Я прищурился.

Мир будто на мгновение стал чётче.

И тут я увидел бабушку.

Она сидела на лавке у забора. Узел лежал рядом. Руки — на коленях. Пальцы сцеплены.

Она не плакала. Просто смотрела.

Я подошёл.

— Баб...

Она не сразу повернула голову.

— А?

— А мы вернёмся?

Вопрос вырвался сам.

Она долго молчала. Очень долго.

Я уже решил, что она не ответит.

Потом сказала:

— Нет.

Просто. Без объяснений.

Я кивнул.

Слово «нет» оказалось тяжёлым. Тяжелее всех досок во

дворе.

Я сел рядом.

Мы сидели молча.

Сейчас я думаю: это был первый раз, когда я почувствовал — что-то уходит навсегда. Не «потом», не «временно». Навсегда.

И ничего нельзя сделать.

Из дома снова донёсся удар.

Потом треск.

Громче, чем раньше.

Я вздрогнул.

Бабушка — нет.

Она только крепче сцепила пальцы.

— Пойдём, — сказала она наконец. — Нам ещё ехать.

Я встал. Оглянулся на дом.

Он уже был не таким, как утром. Где-то не хватало куска стены. Где-то зияли тёмные провалы. Как раны.

Я вдруг разозлился.

На рабочих. На мать. На этот дом. На всё.

Почему ломают?

Почему нельзя оставить?

Почему нельзя просто жить, как было?

Ответов не было.

Но я и не задавал этих вопросов вслух, понимая, что решение приняли взрослые.

Есть вещи, которые не объясняют детям.

И, если честно, взрослым тоже.

Тогда за меня решали взрослые — и это казалось правильным.

Я не знал, что однажды так и останусь жить: не решая.

Тогда я ещё не знал, что решения за меня будут принимать всегда.

И что я сам к этому привыкну.

Мы пошли к калитке. Я ещё раз обернулся.

И поймал себя на странном чувстве.

Будто я ухожу — а что-то остаётся там.

Не вещи. Не мебель. Что-то другое.

Тогда я не понял.

Сейчас понимаю: часть меня.

У калитки нас ждала мать.

Она уже не суежилась, как утром. Стояла прямо, руки в карманах пальто, взгляд собранный. Всё внутри неё будто сжалось в одну точку — туда, где начиналась новая жизнь.

— Пошли, — сказала она коротко.

Бабушка кивнула. Подняла узел. Я потянулся было помочь, но она покачала головой:

— Тяжёлый.

Сказала — и прижала к себе ещё крепче.

Мы вышли со двора.

Я оглянулся в последний раз.

Дом стоял, перекошенный, с выбитыми окнами, с распахнутым нутром. Уже не дом — оболочка. Пустая. Чужая.

Рабочие двигались внутри, как в декорации. Их голоса звучали глухо.

Я задержался на секунду.

— Димка! — резко сказала мать.

Я побежал догонять.

Мы шли по улице — вчетвером. Слева мать, справа бабушка. Я между ними. Наташка шла чуть впереди, не оборачиваясь.

Улица была той же, что и всегда. Те же дома, те же заборы, те же лужи. Только я чувствовал — всё уже другое.

Иду — а будто вырезали кусок.

Я шёл и думал о странной вещи.

Если дом исчезнет... где тогда всё, что было внутри?

Где наши вечера? Где голос бабушки? Где запах картошки? Где шкаф, который делал отец?

Куда это всё девается?

Я посмотрел на мать.

Она шла быстро, не глядя по сторонам.

На бабушку.

Она шла медленно, но ровно. Только пальцы всё так же были сжаты.

На Наташку.

Она не оглянулась ни разу.

Тогда я вдруг понял: у каждого из них свой ответ.

И ни один из них мне не скажут.

Мы дошли до остановки.

Там уже стояли люди. С узлами, сумками, коробками. Такие же, как мы. Из таких же домов.

Кто-то переговаривался. Кто-то молчал. Кто-то ругался. Все ждали.

Я прижался к матери.

— Мам.

— Что?

— А квартира... она наша будет?

Она посмотрела на меня.

Взгляд был быстрый. Оценочный.

— Наша, — сказала она.

Слишком быстро.

Сейчас я понимаю: она не была уверена.

Но тогда этого хватило.

Я кивнул.

Слово «наша» согрело.

Я поверил.

Автобус подъехал с грохотом. Двери открылись, выпуская тёплый, затхлый воздух.

— Заходим! Быстрее! — крикнул водитель.

Люди зашевелились.

Мы тоже.

Я сделал шаг на ступеньку — и вдруг обернулся.

Сам не знаю зачем.

Дома уже не было видно. Его закрывали другие здания, забор, поворот улицы.

Но я всё равно смотрел туда.
Как будто мог что-то вернуть.
Ничего не вернул.

Я вошёл в автобус. Двери закрылись. Он дёрнулся и поехал.

Я стоял у окна, прижатый к стеклу, и смотрел назад — пока улица не исчезла совсем.

И в этот момент я был уверен:
всё, что было, осталось там.

Сейчас я знаю: я ошибался. Очень сильно.

Автобус гремел, подпрыгивая на выбоинах.

Я держался за холодный поручень и всё ещё смотрел в окно, хотя смотреть уже было не на что. Улица исчезла, двор исчез, дом исчез. Осталась только дорога — серая лента, уходящая куда-то вперёд.

Внутри пахло мокрой одеждой, бензином и чужими жизнями.

Кто-то тихо ругался. Кто-то прижимал к себе узлы. Ребёнок где-то сзади заплакал — коротко, устало.

Я перевёл взгляд на стекло.

В нём отражались мы.

Мать — прямая, собранная. Уже там, впереди.

Бабушка — с узлом, прижатым к груди, будто держит то, что нельзя уронить.

Наташка — серьёзная, молчаливая, чужая в своей взрослости.

И я.

Маленький. С распахнутыми глазами. Не понимающий, что произошло.

Я смотрел на это отражение — и вдруг почувствовал странную вещь.

Будто это уже не мы.

Будто это — предыдущая версия нас.

Автобус резко затормозил. Кто-то качнулся, кто-то выругался.

— Осторожно! — крикнул водитель.

Я ухватился крепче.

Сейчас, спустя годы, я понимаю: в тот день, в 1973 году, мы не просто переехали.

Мы разделились.

Там, в старом доме, осталась одна жизнь. Простая. Понятная. Где «наше» не требовало доказательств.

А в этот автобус сели другие люди.

Те, которым ещё предстояло узнать, что слово «наше» — хрупкое. Что его можно отдать, переписать, потерять.

И что иногда ты живёшь в месте годами — а потом оказывается, оно тебе не принадлежало никогда.

Я тогда этого не знал.

Я верил матери.

Верил слову «наша».

Верил, что всё впереди станет только лучше.

И самое главное — я не заметил момент.

Тот самый маленький, почти незаметный момент, когда
всё можно было понять иначе.

Когда можно было задать другой вопрос.

Или услышать ответ.

Или просто насторожиться.

Но я был ребёнком.

А взрослые...

взрослые тоже не всегда понимают, что происходит на самом деле.

Автобус ехал.

Жизнь ехала вместе с ним.

И где-то между старым домом и новой квартирой уже начиналась история,

которая через много лет приведёт меня на чужую кухню,
с холодной кружкой в руках
и мыслью,

что у меня не осталось ничего своего.

И если отмотать всё назад —

я точно знаю:

всё началось не с квартиры.

Не с документов.

Не с чужих слов.

А с того дня.

С этого автобуса.

С этого пути.

И с одной ошибки...

Глава 2

Запах новой квартиры держался недолго.

Первые недели дом пах строительством. В подъезде висела тяжёлая смесь сырой штукатурки, цементной пыли и свежей краски. Стоило провести ладонью по перилам — пальцы белели. По вечерам где-то наверху стучали молотки, визжали пилы, глухо гудели дрели.

Потом всё это ушло.

Цемент сменился едой.

На первом этаже тянуло жареной картошкой и луком — там жила молодая пара, у них всегда что-то шкворчало. Этажом выше пахло кошками и хлоркой.

На нашем — маминой мазью для суставов и отцовским табаком. Сверху — выпечкой: сладкий запах теста медленно сползал по лестнице вниз.

Дом переставал быть новым. Осваивался. Обживался.

Он больше не давил высотой. Привыкал к людям. Становился ульем.

Во дворе тоже появилась жизнь.

Когда всё идёт само — не хочется вмешиваться.

Я тогда считал это спокойствием.

Рабочие разобрали леса, и на пустом месте выросли качели. Сначала на них боялись садиться — железные, холодные, цепи звенят. Потом кто-то прикрутил доски, кто-то обмотал

цепи тряпками — и качели стали своими.

Между подъездами натянули верёвки. Простыни раздувались на ветру, как паруса. Если смотреть снизу вверх, казалось — небо закрыто белыми полотнами.

Женщины сначала узнавали друг друга по описаниям:

— та, с третьего

— у которой двое

— с коляской

Потом — по именам:

— Таня

— Лариса

— Зоя Ивановна

Дети — по крикам из окон:

— Дима, домой!

— Наташа, хватит в песке лазать!

— Серёжа, из лужи вылезай!

Я быстро освоился.

Бегал по лестницам, считал этажи. Лифт часто стоял или ломался, и я почти всегда ходил пешком. Каждый этаж пах по-своему. Со временем я научился ориентироваться по запаху.

Открываешь дверь — и уже знаешь, где ты.

Но главное — у меня появился свой угол.

Комната. Подоконник с машинками. Кровать в углу. Рисунки на стене, приколотый кнопкой.

Иногда я просто сидел у окна, прижимаясь к батарее, и

смотрел вниз. Во двор. На мальчишек с мячом. На собаку, которая носилась вокруг качелей.

Это было ощущение... своего.

Пусть маленького.

Но моего.

Но больше всего я любил подниматься к бабушке.

Она жила на седьмом этаже — в этом же доме. Это было важно. Не нужно никуда идти, искать подъезд, переходить дорогу. Просто вверх по знакомым ступеням.

Её площадка пахла иначе.

Теплее. Суше.

Я тогда не понимал почему. Теперь думаю — она часто открывала дверь. «Проветрить квартиру, а заодно подъезд согреть», — как она говорила.

Я стучал своим способом: два раза, пауза, ещё раз.

Наш сигнал.

Дверь приоткрывалась. Сначала глаз, потом лицо.

— Опять пришёл? — говорила она.

И каждый раз в голосе было больше радости, чем упрёка.

— Пришёл, — отвечал я, хотя приходил почти ежедневно.

Она отступала.

Я входил.

Коридор — узкий. Табуретка у стены. Вешалка с её плащом и моими куртками «на всякий случай». Мягкий коврик под ногами.

— Разувайся.

Я и так уже разувался.

Квартира была маленькая — но для меня огромная.

Комната, кухня, коридор, ванная.

В комнате — старый шкаф с зеркалом. Тот самый, из деревянного дома. Кровать с покрывалом в крупные цветы. Стол у окна: очки, пяльцы, стопка газет.

Ковёр на стене — знакомый, коричнево-красный. Я мог долго рассматривать узор, пока не терялся в нём.

На подоконнике — герань и алоэ.

Радио тихо шипело.

Кухня — совсем маленькая.

Стол. Подоконник. Две табуретки. Газовая плита. Эмалированный чайник с облезшей ручкой. Полка с банками — чай, сахар, варенье.

И запах.

Чай. Сушёные яблоки. Тепло.

Этот запах не исчезал никогда.

У бабушки всегда было тихо.

Можно было просто сидеть и смотреть, как она режет хлеб.

— Чай будешь?

— Буду.

Она ставила чайник. Газ вспыхивал с хлопком. Вода начинала шуметь.

Пока он закипал, она доставала хлеб, варенье, иногда печенье.

Двигалась медленно, но точно. Без суеты.

Каждое действие — на своём месте.

Нож — на доску. Ломтики — ровные. Ложка — звяк о стекло.

— Держи.

Чашка передо мной.

И всё остальное исчезало.

У родителей дома было иначе.

Там редко было тихо.

Отец приходил поздно, уставший, бросал сумку в коридоре. Мать встречала его словами:

— Опять поздно.

— Да отстань, — отвечал он. — Работа.

— У всех работа!

И дальше — по кругу.

Голоса поднимались. Становились жёстче. Слова летели по квартире, как острые осколки.

Наташа хлопала дверьми. Уходила к себе или из дома. Включала музыку так, чтобы не слышать.

Телевизор орал. Кастрюли на плите звенели.

Мне хотелось исчезнуть.

Однажды я помню это особенно чётко.

Они ругались из-за денег. С кухни доносились обрывки фраз — злые, резкие. Я сидел в комнате, сжимал в руках машинку и чувствовал, как внутри всё сжимается.

Казалось, ещё немного — и квартира треснет пополам.

Я встал. Надел ботинки. И вышел.

Никому ничего не сказал. Просто пошёл наверх.

К бабушке.

Я стукнул. Два раза. Пауза. Ещё раз.

Дверь открылась.

— Опять пришёл? — сказала она и сразу отступила. —

Заходи.

Я прошёл на кухню, сел.

Там было тихо.

Звуки снизу доходили глухо, как будто через воду.

— Чай будешь? — спросила она.

— Угу.

Говорить было трудно.

Она посмотрела внимательнее обычного.

— Ругаются?

Я пожал плечами.

— Бывает, — сказала она спокойно. — Пусть ругаются.

Налей воды в чайник, поможешь.

Я взял чайник. Подставил под кран.

Вода ударила в эмаль, разбилась брызгами о стенки. Холодная. Я держал его, слушал этот шум — и внутри становилось ровнее.

Как будто меня тоже промывают.

— Хлеб достань, — сказала она. — Нож в нижнем ящике.

Я делал всё аккуратно. Старался не крошить.

Старался быть полезным. Здесь это получалось.

— Димка, — сказала она, наблюдая, — ты у меня самый тихий.

Сказала без жалости.

Как факт.

Я замер на секунду.

Не понял — хорошо это или плохо.

Но почувствовал: правильно.

В доме, где все кричат, быть тихим — значит не ломать.

Значит не ранить.

Она поставила передо мной чашку.

Села напротив.

Подняла очки на лоб.

— Вырастешь — квартира тебе будет, — сказала вдруг.

Я поднял глаза.

— Эта?

— Эта.

Сказала просто. Без пафоса.

Как будто говорила не о квартире, а о табуретке: кому-то же она достанется.

Я кивнул.

Я не знал слов «собственность», «завещание», «оформление».

Мне хватило её слов.

«Тебе будет».

В детстве это звучит как закон.

Как утро.

Как чайник, который обязательно закипит.

Эти слова легли внутри тихо. Без шума.

Как будто там уже заранее приготовили для меня место.

Я не думал об этом каждый день.

Но знал.

Где-то есть точка, где мне всегда рады.

И однажды она станет моей.

Дверь в коридоре хлопнула.

— О, — раздался голос Наташи. — Чай пьёте.

Она вошла без стука, как к себе.

Скинула куртку, бросила сумку на табуретку и сразу прошла на кухню.

Она уже вытянулась. Стала резче. Движения — быстрые, точные. Взгляд — цепкий, оценивающий.

В отличие от меня, она не просто находилась в комнате.

Она её считывала.

— Садись, — сказала бабушка.

Наташа села на край табуретки. Не расслабляясь. Как будто в любой момент могла встать и уйти.

Её взгляд прошёлся по кухне.

Стол. Плита. Банки. Окно.

Всё.

— Бабушка, — сказала она, — ты одна здесь живёшь?

— Одна, — кивнула та.

— И квартира твоя?

— Моя.

Ответ был мгновенным.

Для бабушки это было просто: живёшь — значит твоя.

Наташа немного помолчала.

Я ел хлеб с вареньем и слушал.

— А потом кому будет? — спросила она.

Этот вопрос она уже задавала бабушке раньше. Тогда, во дворе.

И ответ был тот же.

— Потом видно будет.

Но теперь всё было иначе.

Кухня маленькая. Тишина плотная. Радио замолчало.

Слова не рассеивались — оставались висеть.

Наташа не отвела взгляд.

— А если ты умрёшь?

Ложка в моей руке остановилась.

Даже я понял — так не говорят.

Смерть обычно обходили стороной. Шептали о ней. Не называли прямо.

А она сказала.

Прямо.

Бабушка медленно поставила чашку.

Посмотрела поверх очков.

— Рано тебе об этом думать.

Голос спокойный.

Но губы чуть дрогнули.

Наташа пожала плечами.

— Просто спросила.

И взяла хлеб. Начала есть.

Как будто речь шла о чём-то обычном.

Я тогда не понял: ей не страшно.

Ей важно — понять заранее.

Чтобы потом не оказалось неожиданностей.

— Бабушка, — сказала она мягче, — я правда просто спросила.

— Я слышала.

Пауза.

Тихая, но напряжённая.

Я переводил взгляд с одной на другую.

Не понимал слов.

Но чувствовал — что-то натянуто.

Наконец бабушка сказала:

— Квартира пока моя. А дальше... как жизнь решит.

Наташа усмехнулась.

Легко. Почти незаметно.

— Жизнь редко сама решает, — сказала она. — Люди решают.

Тогда я не обратил внимания.

Сейчас понимаю — это была не фраза.

Это была её позиция. Её способ жить.

Если не ты — то за тебя. И не в твою пользу.

Бабушка посмотрела на неё внимательно.

Уже иначе.

— Умная ты у нас, — сказала.

— Надо же кому-то, — ответила Наташа.

Я не понял — шутка это или нет.

Но в голосе было что-то острое.

Я доел хлеб.

— Бабушка, а можно ещё?

Она улыбнулась.

С облегчением.

— Конечно.

Разговор о будущем как будто отложили.

До следующего раза.

Но он никуда не исчез.

Он просто лёг глубже.

После того разговора всё осталось прежним.

И в то же время — нет.

Я продолжал приходить к бабушке почти каждый день.

Стучал своим сигналом. Снимал ботинки. Садился за кухонный стол.

Чай. Хлеб. Варенье.

Тишина.

Но теперь в этой тишине появилось что-то ещё.

Как будто в комнате поставили невидимый предмет, о который иногда задеваешь плечом.

Наташа стала заходить чаще.

Не каждый день, но регулярно.

Иногда вместе со мной, иногда отдельно.

Она уже не бросала быстрый взгляд на кухню — она рассматривала.

Дольше. Внимательнее.

Могла встать, пройтись по комнате.

Открыть шкаф. Провести пальцем по полке.

— Старый — говорила она про шкаф. — Но крепкий.

— Твой дед делал, — отвечала бабушка.

— Видно.

Слово звучало так, будто это была оценка.

Не память.

Оценка качества.

Она открывала окно, проверяла, как оно закрывается.

Смотрела на батареи.

— Тепло держат?

— Держат.

— А трубы не текут?

— Нет.

Я тогда думал — ей просто скучно.

Сейчас понимаю: она считала.

Собирала информацию.

Как будто квартира была задачей, которую нужно решить заранее.

— Седьмой этаж, — говорила она. — Лифт часто ломается.

— Я и пешком могу, — спокойно отвечала бабушка.

— Это ты можешь.

Она не спорила.

Фиксировала.

Иногда она задавала вопросы, которые мне казались странными.

— А документы где лежат?

— Какие документы?

— На квартиру.

Бабушка смотрела на неё дольше обычного.

— Лежат.

— Где?

— Лежат, — повторяла она.

И всё.

Разговор обрывался.

Наташа не настаивала. Но запоминала.

Я видел это, хотя не понимал до конца.

Однажды она пришла, когда меня не было.

Я узнал об этом случайно.

Зашёл вечером — бабушка сидела на кухне, но не вязала, не читала. Просто сидела.

Руки лежали на столе.

— Ты чего? — спросил я.

— Да так.

Она посмотрела на меня и вдруг сказала:

— Сестра твоя приходила.

— И что?

— Да ничего.

Слишком быстро.

Я сел.

— А что вы делали?

— Чай пили.

— И всё?

Она кивнула.

Но потом добавила:

— Спрашивала много.

— Про что?

Бабушка помолчала.

— Про жизнь.

Ответ был общий. Слишком общий.

Я не стал спрашивать дальше.

Но что-то внутри зашевелилось.

Как будто я подошёл к двери, за которой говорили обо мне — и не расслышал.

С этого дня я начал прислушиваться.

Не специально.

Само получалось.

Когда Наташа говорила с бабушкой — я слушал.

Когда они замолкали — я чувствовал это сильнее, чем слова.

И всё чаще мне казалось:

они разговаривают на языке, которого я не знаю.

И этот язык — про будущее.

В котором меня может не оказаться.

Однажды я пришёл раньше обычного.

Дверь была не заперта.

Я толкнул её — она тихо скрипнула и приоткрылась.

— Баб? — позвал я.

Ответа не было.

Я шагнул внутрь.

В квартире было непривычно тихо. Даже радио не шипело.

Я прошёл по коридору и остановился у кухни.

Голоса. Тихие. Сдержанные.

Я не сразу понял, кто говорит.

Потом разобрал.

Бабушка. И Наташа.

— ...я же не чужая, — говорила Наташа.

Спокойно. Уверенно.

— Я понимаю, — ответила бабушка.

— Тогда в чём проблема?

Пауза.

Я замер у стены. Сердце вдруг стало громче, чем их голоса.

— Не сейчас, — сказала бабушка.

— А когда?

Тишина.

— Потом.

— Потом может быть поздно.

Слова прозвучали мягко.

Но в них было что-то твёрдое. Как гвоздь, забитый аккуратно, без лишнего шума.

Я не понимал, о чём они.

Но понимал главное:

разговор важный.

И меня в нём нет.

Я сделал шаг назад.

Пол под ногой тихо скрипнул.

Голоса сразу стихли.

— Кто там? — спросила бабушка.

Я замер на секунду и вышел в коридор уже громче, специально.

— Это я.

— Димка? — голос стал другим. — Заходи.

Я вошёл на кухню.

Они сидели за столом.

Чай. Хлеб. Всё как обычно.

Только что-то изменилось.

Наташа посмотрела на меня — быстро, оценивающе.

И чуть улыбнулась.

— Подслушивал?

— Нет, — сказал я.

Слишком быстро.

Она кивнула.

Как будто ей было неважно.

— Садись, — сказала бабушка.

Я сел.

Чашка уже стояла передо мной.

Я взял её. Руки были тёплые.

А внутри — нет.

Я пил чай и чувствовал:

что-то происходит.

Что-то, что меня касается.

Но объяснять мне это никто не собирается.

И тогда впервые появилась мысль.

Тихая. Неровная. Неприятная.

А что, если... эта квартира не такая уж и моя?

Я отогнал её сразу. Как отгоняют что-то глупое.

Неправильное.

Бабушка же сказала.

Значит — так и будет.

Детям достаточно слова.

Они не знают, что слова могут меняться.

Переписываться.

Исчезать.

Я тогда этого не знал.

Я просто пил чай.

Смотрел на стол.

Слушал, как тикают часы.

И не замечал, как в этой тихой кухне

уже решается вопрос,

который через много лет

разделит нас окончательно.

И если бы меня спросили сейчас,
когда всё началось —
я бы не стал вспоминать крики родителей
или тот день переезда.

Я бы вспомнил это. Тихую кухню. Чай.

И разговор, который я почти услышал.

Почти понял. Но не остановил.

И, возможно, уже тогда было слишком поздно.

Глава 3

Иногда характер человека виден задолго до того, как он сам понимает, что у него есть характер.

Ты ещё пацан, в зеркало смотришь только, чтобы выдавить прыщ, а внутри уже всё собрано: как будешь верить, как злиться, кого жалеть и кого презирать.

Мы с Наташкой были разными с самого начала.

Не просто брат и сестра — разные люди. Будто из разных семей.

По факту так и было: мы родные по матери, у неё другой отец.

Позже мать рассказала: Наташкин отец давно бросил их. Они развелись, а он остался жить там, в Сибири, с подругой матери. Наташке было года два. И с тех пор они с матерью его не видели и не общались.

Наверное, поэтому она недолюбливала моего отца. Хотя он относился к ней нормально, не обижал. Но и это нас не сближало.

Когда думаю о детстве, первым всплывает один эпизод.

Двор. Наш дом, куда мы только въехали. Мне лет семь.

Я дерусь на лестничной площадке с каким-то пацаном. Уже не помню, из-за чего. Скорее всего — из ерунды: толкнул, не поделили игрушку, сказал не то слово. У нас всё быстро загорается.

Меня трясёт от обиды.

Я бью. Он бьёт. Я цепляю его по уху, он попадает мне по губе. Во рту сразу вкус крови — тёплый, солоноватый.

И вдруг сверху — голос:

— Димка! Ты чего, с ума сошёл?!

Бабушка.

Она спускается быстро, насколько может: маленькая, в старом халате, руки в муке — видно, тесто месила. Подходит, хватает меня за плечо, оттаскивает.

— Ты чего дерёшься? — шепчет, но в голосе такая тревога, будто я войну начал.

— Он первый, — пыхчу я, вытирая рот. — Он подставил.

Пацан уже смылся.

Я стою, тяжело дышу — злость ещё не отпустила, но рядом с ней уже появляется стыд.

Бабушка проводит рукой по моим волосам. Ладонь тёплая, шершавая.

— Ты у меня добрый, — говорит тихо. — Это хорошо. Но дураком не будь. Доброта — это одно, а позволять по себе ходить — другое. Понял?

Я, конечно, не понял.

Мне тогда важно было одно — доказать, что я не слабый. Но слово «добрый» я запомнил.

И её запах — тесто, горячая духовка, немного лекарства.

Потом разница между мной и Наташкой стала видна сильнее.

Она была старше на шесть лет — в детстве это пропасть. Когда мне десять — ей шестнадцать. Я гоняю мяч во дворе, она уже красит губы и уходит по вечерам.

Но дело было не только в возрасте.

Она смотрела на людей иначе.

Даже на меня.

Я возвращаюсь со двора — весь в пыли, голодный, довольный. На кухне жареная картошка, лук. Мать гремит кастрюлями. Отец чинит что-то на табуретке.

Я хватаю хлеб, тянусь к тарелке.

Он смотрит спокойно, чуть устало:

— Ну что, чемпион, опять всех обыграл?

— Угу, — киваю. — У Серёги мяч новый. Я ему велик дал — он мне мяч.

Для меня это нормально: сегодня ты — завтра тебе.

Отец только улыбается.

А вот Наташка — нет.

Она смотрит на это как на ошибку.

Лето в нашем дворе пахло пылью, горячим асфальтом и сладковатым дымком из соседней пекарни.

Панельные дома стояли, как серые коробки, но для нас это был целый мир: пустыри, гаражи, ржавые турники, на которых мы висели до темноты — пока из окон не начинали кричать матери.

— Димка-а-а! Домой!

Голоса тянулись над двором, смешиваясь с лаем собак и

гулом телевизоров.

В тот день у нас появился велосипед.

Настоящий. С блестящими спицами, высоким рулём и дурацким зелёным цветом — но для нас это была мечта.

Хозяин — Витька из соседнего подъезда.

— Никому не дам, — сразу сказал он, обняв руль.

Мы окружили его:

— Да дай круг!

— Ну ты чего, жадничаешь?

— Просто прокатиться!

Он стоял упрямо, губы сжаты.

Я выкатил свой велик из сарая. Старый, скрипучий, с облезлой рамой и кривой педалью. Когда его поднимаешь — он весь дребезжит.

— Давай так, — сказал я. — Я тебе свой на день. А ты нам — по кругу свой. Нормально?

Пацаны притихли.

Витька колебался, но уже было видно — согласится. Чужой велик — это всё равно свобода, даже если он разваливается.

— На день? — уточнил он. — Прямо кататься?

— Кататься.

Он кивнул.

Через пару часов мой убогий конь носился по двору под Витькой, а его зелёный красавец переходил из рук в руки. Один круг — следующий, потом ещё.

Смех, крики, пыль.

Я стоял рядом, держал руль, помогал садиться, подхватывал, когда кто-то спрыгивал.

Мне было хорошо.

Всё работало: никто не в обиде, все довольны.

И тут сверху:

— Димка-а-а!

Я поднял голову.

Пятый этаж. Наш балкон. Наташка облокотилась на перила. Волосы собраны, губы яркие.

Она смотрела не на меня.

На велосипед.

— Чего? — крикнул я.

— Иди домой, мать звала, — лениво бросила она. И добавила: — И... дурак ты.

Я нахмурился:

— Это почему?

Она улыбнулась — узко, холодно:

— Всё своё раздаёшь. Дурак.

Пацаны заржали:

— Во, сестра дело говорит!

Меня кольнуло.

Неприятно. Как будто сказали не просто «дурак», а что-то более точное.

Но через минуту мы снова побежали, кто-то крикнул «Паси!» — и всё вернулось на место.

Тогда её слова показались обычным ворчанием старшей.
Сейчас понимаю: в них уже был целый мир.
Мир, где важнее удержать, чем поделиться.
Историю с конфетами я тоже помню хорошо.
Осень. Ранние сумерки. Дождь скребёт по стеклу.
На кухне тусклая лампа, стены, потемневшие от времени
и пара. Мать режет селёдку, отец чинит штепсель.
На столе — коробка конфет «Мишка на Севере».
Праздник.
Я первым делом цепляюсь глазами за фантики.
— Можно? — спрашиваю, уже тяну руку.
— Возьми, — машет мать. — Только не все сразу.
Я беру две.
Одну — сразу в рот. Шоколад липнет к зубам, карамель
тянется. Сладко до приторности.
Вторую кручу в пальцах.
В этот момент заходит Наташа.
Сумку — на табурет. Взгляд — на стол.
— О, конфеты.
Она подходит, берёт коробку.
Достаёт не одну — горсть.
Начинает перекладывать в отдельную миску.
Я удивляюсь:
— Эй, ты чего? Нам же всем.
Она косится:
— Всем — это кому?

— Ну... нам. Мне, тебе, маме...

Она хмыкает:

— Ты, Димка, дурак.

Говорит спокойно. Без злости.

— Всё своё отдаёшь. Своё держат при себе. Понял?

— Да я... — запинаясь. — Мне не жалко. Я сладкое не люблю.

— В этом и проблема, — отвечает она.

Ставит миску в буфет, повыше.

— Не любишь — не ценишь.

Отец поднимает глаза. Хочет что-то сказать — и не говорит. Снова склоняется к проводам.

Мать вмешивается:

— Наташа, положи обратно.

— Мам, — спокойно отвечает она. — Ты сама говорила: всё надо планировать. У тебя юбилей скоро. Гости будут. Пусть полежат.

И разговор заканчивается.

Я сижу с одной конфетой, которая уже растаяла.

В коробке — остатки.

В буфете — запас «на потом».

Тогда мне это показалось просто жадностью.

Сейчас я понимаю: это была система.

Не сейчас — потом.

Не всем — себе.

Не поделиться — сохранить.

Наташка вообще редко участвовала.

Она наблюдала.

Особенно — когда приходили гости.

Наши кухонные посиделки были тесными и шумными.

Две табуретки, старый линолеум, стол с клеёнкой в облезлых розах. На плите булькает суп, в миске — селёдка под шубой, рядом винегрет. На подоконнике — бутылки. Кухня дышит жаром и табачным дымом.

В тот вечер пришла Зинаида Петровна — мамина подруга. Полная, громкая, с химией на голове и таким смехом, что его слышал весь подъезд.

С ней ещё пара женщин.

Мужики сидели в комнате у телевизора.

Я уже был подростком — четырнадцать. Мог уйти во двор, но остался: осваивал гитару, таскал её туда-сюда между комнатой и кухней.

Сажу в комнате, перебираю струны, но слышу всё.

— ...ну, переписала я на него, — говорит Зинаида Петровна с довольством. — Он же сын. Кто мне ещё? Муж? Да он алкаш.

— На сына... — задумчиво повторяет мать.

Стаканы стучаются. Запах спиртного добирается даже сюда.

— А он как? — спрашивает кто-то.

— А как... — вздыхает она. — Сначала благодарил. А потом началось. То деньги, то бабы. Квартира моя, а живу

как в гостях.

Я слушаю вполуха.

Пытаюсь взять аккорд чисто. Пальцы болят.

И вдруг замечаю: Наташа здесь.

Сидит на табуретке у стены, ноги поджала, сигарета в пальцах.

Молчит. Но слушает внимательно.

Мать это видит и будто объясняет:

— У меня всё просто. Наташке — своё, Димке — своё.

Чтобы никому обидно не было.

Я тогда усмехнулся про себя.

Какое «своё»? Мне четырнадцать. У меня «своё» — это гитара и кроссовки.

После гостей кухня выглядела как после боя.

Посуда в раковине, крошки, тяжёлый запах.

Я зашёл попить воды.

Мать ушла, отец уже спал.

Наташа стояла у окна, курила.

За стеклом — темнота. Лампочка над подъездом вырезает кусок двора.

— Зинаида Петровна дура, — сказала она.

Я удивился:

— Почему?

Вода шумит в раковине.

— Потому что квартиру на сына переписала.

— Ну и что? — не понимаю. — Сын же.

Она пожала плечами:

— Потом пожалеет.

Сказала спокойно.

Как будто это очевидно.

Я тогда не понял, откуда у неё такая уверенность.

Ей двадцать.

А говорит — как человек, который уже видел, чем всё заканчивается.

Я жил проще.

Школа, двор, турник, гитара.

Я легко сходиллся с людьми. Мог заговорить с кем угодно — с соседями, с мужиками на лавке.

— Ну что, как игра? — подсаживаюсь.

— Иди отсюда, малой, — ворчит один.

— Да ладно, — смеётся другой. — Димка нормальный.

Фишки стучат, дым висит в воздухе.

Мне казалось: если человек улыбается — он нормальный. Если обещает — сделает.

Учителя меня любили. Я быстро схватывал, мог подготовиться в последний момент и всё равно ответить.

Дом для меня был просто домом.

Нашим.

Я не думал, кому он принадлежит.

Наташка думала.

Для неё это уже было чем-то другим.

У Наташки была своя жизнь.

Она рано начала гулять. Домой приходила поздно, иногда с какими-то незнакомыми парнями.

Я лежал в комнате, слушал, как часы тикают в темноте, а мать ходит по коридору туда-сюда.

— Опять её нет... — бормотала она. — Господи, куда её носит?

Отец сидел перед телевизором, задумчиво тёр подбородок.

В его молчании уже была усталость. Он заранее знал, чем всё закончится.

Щёлкал замок. Скрип двери.

Наташа входила — вместе с запахом улицы, дешёвых духов и табака.

Свет в коридоре вспыхивал.

— Ты где была? — сразу начинала мать.

— Гуляла, — спокойно отвечала она, снимая ботинки.

— С кем?

Голос становился жёстким.

— Опять с этим своим... хрипуном?

Наташа вздыхала:

— Мам. Я взрослая.

Эти два слова она произносила так, будто ставила точку.

Мать ещё что-то говорила, повышала голос, пыталась удержать разговор.

Наташа аккуратно освобождалась от её рук, проходила в комнату и закрывала дверь.

Я лежал и делал вид, что сплю.

На самом деле — слушал.

Мне было и тревожно, и... немного завидно.

Она умела так сказать «я взрослая», что даже мать отступала.

Я так не умел.

Иногда Наташа была другой.

После своих «гулянок» могла бросить мне жвачку или кассету.

— На. Твой Цой.

— Откуда? — радовался я.

— Меньше знаешь — крепче спишь.

Улыбалась.

В такие моменты она казалась нормальной.

Живой.

Но это случалось редко.

Иногда мне кажется: всё уже тогда было решено.

Просто я этого не видел.

Помню один вечер.

Осень. Темно. Дождь бьёт по стеклу.

Я сижу в комнате, перебираю струны, пытаюсь подобрать песню.

В квартире тихо.

И вдруг — голоса.

Мамин.

И Наташин.

Значит, она уже дома.

— Мам, ты вот что, — говорит Наташа негромко. — Ты про квартиры думала?

— Опять ты... — мать вздыхает. — Какие квартиры? Живём и живём.

— Не «живём», — спокойно отвечает Наташа. — Надо думать. Я про бабкину и эту...

Пауза.

Я будто чувствую, как она кивает в сторону моей комнаты.

— Эту на кого?

— На нас. На всех, — раздражается мать. — Общая.

— Я за то, чтобы по уму, — говорит Наташа. — Ты сама видишь, Димка какой. Добрый. Раскидает всё...

Она делает паузу.

Но я слышу всё.

— Тебе это надо?

У меня внутри что-то сжимается.

Я не понимаю всех деталей.

Но понимаю главное: говорят обо мне.

И решают что-то важное.

Без меня.

Мать что-то возражает.

Голос у неё неуверенный.

Наташа не давит — она просто не отступает.

Медленно, спокойно.

Я лежу в темноте с гитарой на груди.

И впервые чувствую холод.

Я не двигаюсь.

Даже дышать стараюсь тише.

Гитара лежит на груди — струны холодят ладонь. Если шевельнусь, они звякнут, и всё исчезнет: разговор оборвётся, двери захлопнутся, и я снова окажусь «малым, который ничего не понимает».

А я уже понимаю.

Не всё — но достаточно.

— Он не «раскидает», — тихо говорит мать. — Он нормальный парень.

В её голосе — защита. Но слабая. Как будто она сама не до конца уверена, от чего именно защищает.

— Мам, — спокойно отвечает Наташа. — «Нормальный» — это не стратегия.

Тишина.

Слышно, как дождь стучит по подоконнику. Где-то в подъезде хлопает дверь.

— Ты потом пожалеешь, — продолжает она. — Сейчас можно всё сделать спокойно. Пока все живы, пока никто ни с кем не судится.

Я сжимаю пальцы на грифе.

«Судится».

Слово звучит чужеродно в нашей квартире. Как будто из другого мира — взрослого, холодного.

— Что ты предлагаешь? — устало спрашивает мать.

Вот оно. Пауза. Длинная.

Я почти слышу, как у Наташки в голове выстраивается схема.

— Разделить, — говорит она наконец. — Чётко. Документально. Чтобы потом не было... сюрпризов.

Она не повышает голос.

Не давит.

Просто раскладывает.

Как те конфеты — по отдельной миске, «на потом».

— Мне — бабкину. Здесь — решим. Можно долями. Но чтобы всё было понятно.

Мать молчит.

И это молчание хуже любого согласия.

Я вдруг ясно вспоминаю:

двор, велосипед, её «дурак ты»;

кухню, конфеты, «своё держат при себе»;

окно, сигарету и фразу про Зинаиду Петровну: «потом пожалеет».

Всё складывается.

Не сразу — но складывается.

Как будто кто-то щёлкнул выключателем.

Я лежу в темноте и впервые думаю:

а что, если дело не в том, что она жадная?

Что, если она просто живёт по другим правилам?

Где никто никому ничего не должен.

Где «добрый» — это не достоинство, а уязвимость.

Где делиться — значит терять.

И тогда возникает другая мысль.

Тихая. Неприятная.

А если она права?

Я закрываю глаза.

Хочется встать, выйти на кухню, сказать что-нибудь — громко, уверенно, как взрослый.

Но я не выхожу.

Лежу.

Слушаю, как дождь бьёт по стеклу.

Как мать тяжело вздыхает.

Как Наташа что-то ещё объясняет — уже тише, почти шёпотом.

И понимаю: этот разговор — не последний.

Это только начало.

И в следующий раз он будет уже не про «когда-нибудь».

А про конкретное.

Про документы. Подписи. Решения.

И, возможно, про меня.

Я открываю глаза в темноту.

Квартира вокруг кажется той же самой.

Стены, мебель, запах кухни.

Но ощущение — другое.

Как будто я лежу уже не у себя.

А в месте, которое ещё только делят.

И ещё не решили, кому оно достанется.

И есть ли в нём место для меня.

Глава 4

Мне было восемнадцать, когда пришла повестка.

Сейчас мне пятьдесят один, а тот вечер я вижу так ясно, будто он не закончился до сих пор.

Никакого особенного света, никакой музыки — обычный серый осенний день.

Двор мокрый, листья размазаны по асфальту, телевизор в комнате бубнит, мать на кухне чистит картошку. Запах сырости из подъезда смешивается с жареным луком.

Звонок в дверь — короткий, осторожный.

Не тот, когда друзья вваливаются гурьбой.

— Димка, открой! — кричит мать.

Я выхожу в коридор, вытирая руки о спортивные штаны. Открываю.

На площадке — почтальонка. Платок, синяя сумка через плечо, тёмное пальто в каплях дождя.

— Самороковы?

— Мы.

— Тебе.

Белый конверт. Печать. Военкомат.

Мать появляется сразу, будто стояла за углом.

— Что там?

Я беру конверт. Бумага тонкая, скользкая, шуршит под пальцами. Сердце ускоряется — хотя я и так знаю, что внут-

ри.

Восемнадцать. Другого варианта нет.

— Димка... — говорит мать тихо. — Из военкомата.

Мы идём на кухню. Она садится, снимает очки, вытирает руки полотенцем — хотя они сухие. Отец выглядывает из комнаты с отвёрткой в руках.

— Чего там?

Я разрываю конверт.

Внутри — аккуратный лист с печатью. Короткие фразы, как команды: «явиться... такого-то числа... к такому-то часу...»

— Через две недели, — говорю.

Внутри одновременно сжимается и расправляется.

Страшно. И — немного гордо.

Как будто меня впервые признали взрослым.

— Ну вот... — мать встаёт и сразу начинает суетиться. — Значит, служить... Надо носки купить, майки, мыло... Господи, как ты там...

— Все служат, — говорю я, стараясь держать голос ровным. — Нормально.

И правда — тогда это не обсуждалось. Просто наступал момент: собираешь сумку, прощаешься и уезжаешь на два года. Не подвиг. Не трагедия. Этап.

Школа — армия — работа.

Отец подходит, берёт у меня повестку, читает молча. Возвращает.

— Ну что, сынок... — он чешет затылок. — Мужиком станешь. Служи нормально. Не позорься. В драку — если прижмут. А так — головой думай.

Это всё.

Но я слышу главное: он меня уважает.

И верит.

Наташка сидит за столом. Локти на клеёнке, в пальцах ложка, которую она крутит, как сигарету. Смотрит в окно.

Молчит, пока все говорят.

Потом, когда мать выходит, она переводит взгляд на меня:

— Ну что, солдат. Вернёшься — человеком станешь.

— А сейчас я кто?

Она пожимает плечами:

— Сейчас ты... Димка.

Без злобы. Просто факт.

Вечером звонит бабушка.

Телефон в коридоре — чёрный, с круговым диском. Я наматываю шнур на пальцы, пока слушаю её голос.

— Димочка... — хрипловато, но тепло. — Слышала, повестка пришла?

— Пришла.

— Ну... — она вздыхает. — Все служили. И отец твой, и мой. Служба мужчину делает. Ты там держись. Вернёшься — будем думать, как тебе жить. У нас же... — пауза. — У нас же квартира есть. Будет где семью строить. Не волнуйся.

Я смотрю на стену с выцветшим ковром и понимаю: она

про свою однушку двумя этажами выше.

— Да ладно, баб, — усмехаюсь. — Дожить ещё надо.

— Доживёшь, — отвечает она твёрдо. — Ты у меня живучий.

Тогда я не зацепился за её слова про квартиру.

Важно было другое: она не сомневается, что я вернусь.

Две недели пролетели быстро и как-то неровно.

Справки, медкомиссия, очереди, покупки.

Мать стирает, гладит, складывает вещи. Пересчитывает носки и трусы, будто от этого зависит, как я буду там жить.

Отец помогает молча. Подгоняет ремень, проверяет пряжку, гнёт руками новые сапоги, чтобы не так резали.

— Отвёртку бы тебе ещё, — говорит он. — Вдруг там всё раскрутится.

Я смеюсь.

За день до отъезда поднимаюсь к бабушке.

Её квартира пахнет как всегда: выпечка, старое дерево, валерьянка. На кухне что-то тушится, в духовке — пироги.

— О, солдат пришёл, — улыбается она. — Садись.

Она кормит меня так, будто я уезжаю не на два года, а навсегда.

Суп. Пирог. Ещё кусок. Ещё.

Мне уже не лезет, но я ем.

— Ну что, баб, — говорю, — пропаду?

— Пропадут только совсем без мозгов, — отвечает она.

— А у тебя голова есть. Я видела. — Смотрит внимательно.

— Ты там не будь трусом. Но и не геройствуй.

— Понял.

Она кладёт руку на мою.

Тёплая, шершавая.

— Ты у меня... сердечный, — говорит тихо. — Я и Наташу люблю. Но ты другой. Вернёшься — у тебя будет свой дом. Не волнуйся. Мама с Наташей... горячие. А ты — нет. Тебе своя крыша нужна.

Я отвожу глаза.

Мы тогда не умели говорить о таких вещах.

— Ладно, баб, — бурчу. — Вернуться бы.

Утром едем на вокзал.

Мать встала в пять. Приготовила бутерброды, яйца, завернула курицу в газету. Пакет тяжёлый, как будто я в экспедицию.

Вокзал гудит.

Поезда, пар, запах дизеля, дешёвые духи, пот. Ряды таких же, как я — зелёных ещё, с одинаковыми сумками и одинаково напряжёнными лицами.

Все делают вид, что уже мужчины.

А внутри — пацаны.

Мы стоим на платформе.

Мать держит меня за рукав.

— Не пей там, — говорит. — Там же все пьют.

— Мам...

— И не дерись.

— Мать, — вмешивается отец, — ну как он не будет драться? Он мужик. Если прижмут — даст.

Я усмехаюсь:

— Разберёмся.

Отец отводит меня в сторону, кладёт что-то в ладонь.

Холод металла.

— Крестик, — говорит тихо. — От деда. Не хочешь — не носи. Но пусть будет.

Я киваю. Кладу в карман.

По громкоговорителю — посадка.

Мать обнимает так, что тяжело дышать.

— Пиши. Часто. Не пропадай.

Отец молчит, только крепко жмёт руку.

Наташа подходит последней.

Смотрит прямо.

— Пиши иногда, — говорит. — Не каждый день. Но... иногда.

— Буду.

На секунду в её глазах появляется что-то мягкое.

И исчезает.

Поезд трогается.

Я стою у окна, машу. Мать плачет, отец машет кепкой.

Наташа не машет — только кивает.

Пока они не превращаются в пятна.

Потом стекло запотеваает.

И всё исчезает.

Я тогда не знал, что за эти два года дома произойдёт слишком многое.

Армия быстро выбивает из головы лишние мысли.

Сначала — дорога.

Плацкарт. Сутки в вагоне, где мы, ещё вчерашние пацаны, сидим на полках, жуём мамины бутерброды и переглядываемся.

— Говорят, в Казахстан, — бросает кто-то.

— Там степь.

— И деды.

Смеёмся.

Но слово «деды» тяжелее.

Часть — действительно Казахстан.

Степь до горизонта. Летом воздух обжигает, зимой — режет. Ветер постоянный, как будто он здесь главный. Пыль, смешанная со снегом, тонкий лёд под ногами.

Бараки. Казарма. Плац. Склад.

И всё.

Первые месяцы — как удар.

— Рота, подъё-ё-ё-м!

И ты уже не человек, а движение: вскочил, натянул штаны, сапоги, ремень, выбежал в коридор.

Крики, команды, построения.

Холодные умывальники.

Сапоги, которые сначала натирают, потом становятся частью тебя.

Дедовщина была.

Не адская — обычная для того времени.

Сбегать за сигаретами. Принести воду. «Погладить простыню». Построиться не так — получи.

Меня бесило, когда давили слабых.

Иногда я влезал.

Но старался не лезть в каждую мелочь.

Бабушкино «не будь трусом, но и не геройствуй» держало.

Драка началась из-за табуретки.

Как всегда — из ерунды.

Ленкомната. Телевизор. Какой-то концерт. «Деды» заняли места, мы толпимся по углам.

И тут казахи из соседнего взвода:

— Вставай.

Наш старший даже не повернул голову:

— Мы первые.

— Вы русские.

Сказано спокойно.

Но воздух стал тяжёлым.

Я сидел на подоконнике и сразу понял: сейчас начнётся.

Началось быстро.

Рывок. Табуретка скрипнула, поехала. Кто-то толкнул. Кто-то ответил.

Уже через секунду табуретки стали оружием.

Тяжёлые, неудобные, но, если попадёт — мало не покажется.

Шум, мат, грохот.

Телевизор треснул — картинка пошла полосами.

Я сам не понял, как в руках оказалась табуретка.

Передо мной — такой же пацан. Глаза бешеные.

— Ты чего, брат? — выдохнул он.

— Сам ты брат, — ответил я.

И мы оба вдруг заржали.

И в этот момент влетели сержанты.

Разняли быстро.

Потом — построение, ор, наряды.

Мыли казарму, чистили сортиры. Как обычно.

Вечером сижу у казармы. Курю.

Небо чёрное, звёзды крупные. В степи они ближе.

— Ну ты даёшь, Самороков, — слышу.

Поворачиваюсь.

Здоровый парень, плечи как шкаф.

— Чуть телевизор не разнёс.

— Это не я, — бурчу. — Он сам.

Он смеётся.

— Фёдор. Мы с тобой вместе призывались.

Жмём руки.

— Дима.

— Видел, как ты влез, — говорит он. — Не все лезут.

— Не люблю, когда давят.

— Правильно.

Он смотрит на мои руки:

— Тренировался?

— Немного.

— Пригодится.

С тех пор держались рядом. Не друзья на всю жизнь.

Но если что — спина прикрыта.

Дни пошли одинаковые.

Подъём. Зарядка. Каша. Строй. Наряд. Отбой.

Время стало странным: тянется и утекает одновременно.

Живёшь не жизнью — расписанием.

Спасали письма.

Когда кричали:

— Почта!

внутри что-то подскакивало.

— Самороков!

— Я!

Конверт. Мамин почерк. Я садился на койку, раскрывал.

«Здравствуй, сынок...»

Про магазин. Про соседку. Про цены.

Без лишних слов. Но между строк — тревога.

В конце всегда:

«Наташа передаёт привет».

От Наташи — редко.

Коротко:

«Привет. У меня всё нормально. Работы много. Держись.

Наташа».

И всё равно — тепло.

Однажды пришло письмо, которое я перечитал несколько раз.

«Димка, не пугайся. У Наташи будет ребёнок».

Я замер.

Слова не складывались.

Наташа — и ребёнок.

Она же... Наташа.

— Чё у тебя? — спросил Фёдор.

— Сестра беременна.

— Ну, поздравляю, дядя.

— Какой я тебе дядя...

— Такой, — усмехнулся он. — Жизнь.

Я долго думал об этом.

Представлял её с коляской.

И не мог.

Через пару писем мать написала ещё:

«Наташа сейчас живёт у бабушки. Ей так спокойнее. Всё-таки беременная».

Я сразу представил бабушкину кухню.

Та же плита. Те же запахи. Бабушка у стола. Наташа у окна — курит в форточку, даже с животом.

И внутри — кто-то новый.

Бабушка всегда любила Наташу по-особенному.

— Девочка у меня умная, — говорила. — С характером.

Про меня проще:

— Дима хороший.

Тогда я не чувствовал разницы.

Сейчас понимаю:

«умная, с характером» — это та, кому доверяют решения;

«хороший» — тот, кого любят, но за кого решают.

Однажды меня вызвали в канцелярию.

— Самороков! В канцелярию!

Я сразу напрягся.

Туда редко звали просто так.

Коридор пах краской, лампы гудели. Внутри всё сжалось
в один тугой узел.

В голове уже мелькало:

что случилось? кто?

Капитан сидел за столом. Бумаги, папки, жёлтые конвер-
ты.

— Самороков?

— Я.

— Распишись.

Он протянул телеграмму.

Тонкий жёлтый лист.

Я развернул.

«ДИМА БАБУШКА ЖЕНЯ УМЕРЛА ПОХОРОНЫ
ЗАВТРА МАМА»

Без точек. Без пауз.

Я прочитал. Ещё раз. И ещё.

Слова не менялись.

Воздух стал тяжёлым.

— Товарищ капитан... — голос подвёл. — Можно домой?

На похороны.

Он взял телеграмму, посмотрел.

— Бабушка, — сказал.

— Да.

Пауза. Он поднял глаза. В них было понимание.

И сразу — устав.

— Не положено.

— Но я...

— Не положено. Родители — да. Жена, дети — да. Бабушка — нет.

Тишина.

— Служи.

Я вышел и долго стоял на плацу.

Ветер бил в лицо.

Я его не чувствовал.

Перед глазами — бабушкина кухня.

Она ставит пирог.

— Осторожно.

Смеётся. Кладёт руку на голову:

«Ты у меня добрый... Только дураком не будь».

Теперь её нет.

И я даже не попрощался.

Вечером лежу на койке.

Смотрю в потолок.

Вокруг шумят, смеются, играют в карты.

Как будто ничего не случилось.

Фёдор сел рядом:

— Чё?

— Бабушка умерла.

Он кивнул.

— Не отпустили?

— Устав.

Он сплюнул.

— У меня отец... — замолчал. — Тоже не попал на похороны. Нормально живёт. И ты будешь. Бабка твоя понимает, где ты.

Я кивнул.

Но внутри было пусто.

Через пару недель пришло письмо.

Мать писала аккуратнее обычного.

«Димочка, бабушку похоронили. Всё было по-человечески. Она ушла тихо. Не вини себя. Ты служишь».

Я читал медленно.

Дальше — кто приходил, как поминки прошли.

И в конце:

«Наташа родила девочку. Назвали Женя».

Я долго смотрел на эту строчку.

Бабушка умерла. И сразу — новая Женя.

Жизнь не терпит пустоты.

Последнее письмо в тот год пришло уже зимой.

Снег в степи лежал плотный, как наст. Ноги скользили, дыхание обжигало горло. Мы возвращались с работ — разгружали какие-то ящики, таскали их на склад, руки гудели от холода.

— Самороков! Почта!

Я взял конверт, ещё не зная, что внутри.

Почерк — не мамин.

Резкий, уверенный. Наташин.

Я сел на край койки, разорвал бумагу.

«Привет. Пишу коротко. У меня всё нормально. Женя растёт. Квартира теперь на мне. Бабушка всё оформила заранее. Так будет проще всем. Ты не переживай, разберёмся. Служи спокойно. Наташа».

Я перечитал. Потом ещё.

«Квартира теперь на мне».

Слова были простые. Но внутри что-то сдвинулось.

Тихо. Без шума.

Как будто щёлкнул замок в двери, о которой я даже не думал.

Я откинулся к стене.

Перед глазами — бабушка.

— Вернёшься — будет где жить.

Она говорила это спокойно. Уверенно.

Будто уже всё решено.

Я тогда не зацепился.

Не спросил. Не уточнил.

Просто кивнул.

— Чё пишут? — спросил Фёдор, присаживаясь рядом.

Я протянул ему письмо.

Он пробежал глазами, хмыкнул.

— Ну и правильно, — сказал. — Баба с ребёнком. Им нужнее.

Я молчал.

— Чё ты? — он посмотрел внимательнее. — Ты же там не жил всё равно.

— Не жил, — согласился я.

И всё-таки...

Там была бабушка.

Там была кухня.

Там было что-то, что казалось моим — без слов и документов.

А теперь — нет.

Ночью я долго не спал.

Казарма дышала — храп, шорохи, скрип кроватей.

Я смотрел в потолок и пытался понять, что именно меня задело.

Не сама квартира.

Нет. Что-то другое.

Как будто решение приняли без меня.

И это — нормально. Логично. Правильно.

Но внутри от этого не становилось легче.

Утром всё вернулось на свои места.

Подъём. Строй. Команды.

Жизнь, в которой нет места лишним мыслям.

Я заправил койку, натянул ремень, вышел на плац.

И сделал вид, что ничего не изменилось.

Хотя изменилось всё.

Потому что где-то там, далеко, уже сложилась новая жизнь.

Без меня. И, возможно, без места для меня.

Я тогда ещё не знал, что это письмо — только начало.

Что разговор о квартире вернётся.

И не раз.

И что однажды мне придётся решить:

я всё ещё часть этого дома —

или уже чужой.

Глава 5

Когда поезд дёрнулся и замер, я ещё несколько секунд сидел у окна.

Никто не орал:

— Рота, подъём!

Никто не командовал:

— Вещи — к выходу!

Никто не проверял, где я, что делаю и почему ещё не построился.

Можно было просто встать и выйти.

Захотеть — и выйти.

Свобода ощущалась почти непривычно. Не та, про которую поют, а простая, бытовая: сам решаешь, когда подняться, когда закинуть сумку на плечо, когда сделать шаг на перрон.

Я взял сумку — тяжёлую, знакомую, с ремнями, вдавленными в плечо, — и медленно пошёл к выходу. На лестнице задержался, вдохнул.

Влажный воздух, прохладный, с запахом железа, угля и мокрого асфальта. Не степной, не казарменный — другой. Гул вокзала накатывал волной: детский плач, чей-то смех, крики проводниц, глухой голос из динамиков.

Платформа жила своей жизнью.

Кто-то бросался на шею солдатам.

Кто-то катил чемоданы.

Кто-то проходил мимо — для них этот поезд был одним из многих.

Я остановился, провёл взглядом по толпе.

И увидел её.

Мать стояла ближе к выходу. Пальто застёгнуто не на ту пуговицу, платок съехал набок, в руках смятый пакет. Глаза бегают по лицам — ищут одно.

Меня.

Я пошёл к ней. Она сразу узнала. Лицо дрогнуло, губы растянулись в странной улыбке — там было всё сразу: радость, тревога, усталость.

— Димка... — она шагнула и обняла так, будто проверяла: настоящий ли. — Господи... как ты... похудел.

— Да нормально всё, — сказал я. — Живой.

Она отстранилась, посмотрела внимательно, будто сверяла с тем пацаном, который два года назад уезжал отсюда.

— Мужик... — выдохнула. — Совсем мужик.

Сзади послышалось покашливание.

Отец.

Стоит чуть поодаль, руки в карманах, кепка на голове. Не кидается. Просто смотрит и улыбается — тихо, по-мужски.

— Ну что, боец, — сказал он. — Отстрелялся?

— Отслужил, — поправил я.

Мы пожали руки. Его ладонь — тёплая, шершавая. В этом пожатии было всё.

— Пойдём, — засустилась мать. — Тут продует ещё. Домой.

Мы пошли к выходу. Сумка тяжело была по бедру. Сапоги шлёпали по бетону.

В голове глухо стучало:

Я дома. Я правда дома.

Наташки не было.

— А Наташа где? — спросил я.

Мать вздохнула:

— У неё ребёнок. Куда ей по вокзалам...

Я кивнул. Помнил письмо:

«Наташа родила девочку. Назвали Женя».

В честь бабушки.

От этой мысли внутри становилось тихо.

Бабушки нет. Женя есть.

Мы сели в автобус. Мать устроилась у окна, крепко прижимая пакет, будто его могло вырвать на повороте. Отец молчал, смотрел в стекло. Я — на город.

Те же улицы. Те же остановки. Те же серые панели домов.

Только я — другой.

И бабушка больше не поднимется по этим лестницам.

Я вспомнил вечер в армии: плац, телеграмма в руках. Тогда в голове крутилась одна мысль — жизнь меняется без тебя. Пока ты маршируешь и чистишь сапоги, где-то подписывают бумаги, закапывают людей и рожают новых.

Первые дни дома проходят как во сне.

Ты возвращаешься в прежнюю жизнь — но она уже не та.
И ты — тоже.

В первое утро я подскочил, не открывая глаз. В голове звякнуло привычное:

Подъём!

Руки сами потянулись к штанам, к ремню. Я уже почти вскочил, когда понял: тишина.

Никаких сапог.

Никаких матюгов за стенкой.

Никакого «Рота, строиться!».

Только тиканье часов и приглушённый шум машин за окном. И тихое шуршание на кухне — мать уже там.

Я открыл глаза.

Знакомый потолок с трещиной. Ковёр на стене. Белые занавески. В углу — пианино под салфеткой. На стуле — гитара.

Дом.

Я лёг обратно и усмехнулся.

Можно спать сколько хочешь.

Можно вообще не вставать.

Через пять минут дверь приоткрылась.

— Дима, ты что, заболел? Девять уже.

— Мам... — простонал я, зарываясь в подушку. — Я на гражданке.

— На гражданке он... — буркнула она и ушла.

Я всё равно встал. Тело привыкло к режиму. Да и валяться

без дела не тянуло.

Днём я вышел в город.

Двор остался прежним. Те же гаражи, те же облезлые турники. На лавочке сидели какие-то незнакомые бабки. Дети гоняли мяч.

Один пацан повис на турнике, болтаясь, как тряпка.

— Ноги вместе держи, — сказал я на ходу.

Он удивился, но послушался. Подтянулся. Ещё раз. Улыбнулся.

Я пошёл дальше.

Улица встретила шумом автобусов, запахом бензина и мокрого снега. Магазины стояли на местах, только вывески поблекли. На остановке играл приёмник — тонкий голос пел про любовь.

Каждый угол цеплял памятью. Детский сад. Школа. Дом маминой подруги — тогда я не знал, что он ещё станет точкой напряжения.

Просто шёл и впитывал.

По дороге столкнулся с одноклассником.

— О, Димон! Ты чё, живой?!

— Как видишь.

— Отслужил, значит... Пошли вечером, посидим. Ребята будут.

— Пойдём, — ответил я сразу.

Вечером дома было шумно. Мать гремела посудой, отец что-то чинил. Я сидел в комнате, перебирал струны.

Гитара звучала иначе. Не как в казарме — мягче, глубже.
Быть дома было странно.

Легче — да.

Но будто надел старый пиджак, который стал тесноват.

Я пока не думал об этом. Просто радовался:

пиджак есть, дом есть, я — здесь.

Работу я нашёл быстро.

Не потому, что легко — просто у меня был козырь: руки и голова, которая понимала провода, схемы и всю эту «заковыристую» механику.

— Саныч спрашивал, — сказала мать за ужином. — У них монтажники нужны.

— Сможет, — не отрываясь от газеты, вставил отец. — Он у меня по розеткам мастер.

Я усмехнулся.

Через пару дней уже был на стройке.

Огромная бетонная коробка. Арматура, леса, сырость. По полу тянулись кабели — ещё мёртвые, без тока.

— Вот тут всё тянуть будем, — сказал Саныч. — Свет, розетки. Работа есть. Главное — не бояться.

Я посмотрел на провода, на щиток с оголёнными концами — и почувствовал: это правильно.

Не казарма. Не «копать — засыпать».

Здесь от тебя зависит результат. Сделаешь — будет свет. Нет — будет темно.

— Попробуем, — сказал я.

Работа оказалась тяжёлой, но по-своему честной.

Днём мы тянули кабели, сверлили стены, ставили коробки под розетки. Пыль забивалась под ногти, руки к вечеру гудели. Но голова была занята — и это нравилось.

Я ходил по пустым этажам, смотрел в оконные проёмы на город и думал: здесь будут жить люди. Здесь появятся кухни, ковры на стенах, детские кроватки. Кто-то будет ругаться на плохую проводку — и не знать, что её делал я.

Первый аванс выдали в конверте. Деньги небольшие, но свои.

Сжимая его в руке, я почувствовал тихую гордость.

Дома положил часть матери на стол.

— Это тебе.

— Ты что... — растерялась она. — Себе оставь.

— Мам, — перебил я. — Я теперь не на твоей шее.

Она посмотрела на меня иначе. Внимательно. По-взрослому.

— Ладно, — сказала. — Спрячу. А то потрачу.

На остальное я купил джинсы и новые струны для гитары. Джинсы сидели не идеально, но ощущение было правильное: купил сам.

Работа давала не только деньги. Она давала чувство нужности.

Не абстрактной — как в армии.

А конкретной: не придёшь — не будет света.

Это ощущение крепло.

Днём — работа. Вечером — другая жизнь.

К вечеру город менялся.

Днём — серый, шумный, с очередями и руганью.

Ночью — мягче, почти тёплый.

Мы собирались на кухнях. У нас, у друзей — неважно.

Кухня вообще была отдельным миром. Маленькое пространство, куда помещались смех, разговоры, песни, запах жареной картошки и дешёвого вина.

В тот месяц после армии я стал там своим.

— О, дембель пришёл! — встречали. — Давай, играй.

Я брал гитару.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.